

К ВОПРОСУ О ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОКРАИН РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (на примере Северного Кавказа)

В. А. МАТВЕЕВ

Обособленность иноэтнических территорий в зарубежных империях, как известно, оказывалась непреодолимой. Имперские центры, например, Англия и Франция, являлись национальными государствами с установившимися границами, жестко отделявшими метрополию от колоний. Некоторое исключение для них составляли лишь Ирландия и Алжир [1, 40]. На сопредельных, присоединенных к Англии, анклагах также прослеживается некий синтез культур, «сохранивших свою самобытность и ценность друг друга», то есть «единство множественностей» [2, 8]. Шотландия в британском сообществе имела еще более высокую степень интегрированности [2, 8], в чем-то похожую на взаимосвязанность окраин с центром Российской империи. Тем не менее в этнополитических процессах в Европе во второй половине XIX – начале XX в. преобладала тенденция на унификацию инородных элементов. В результате складывались монолитные национальные государства.

Проводившаяся на разных этапах в пределах Российской империи политика способствовала сохранению несхожестей. Вместе с тем она приводила к «гражданскому приобщению» [3, 667; 4, 3-3об.]. Иные свойства, чем в других странах, имел в системе российских государственных отношений и фактор этничности. В Западной Европе, как известно, формирование связанного с ним так называемого «национального вопроса» в особый политический феномен происходило преимущественно на рубеже смены двух эпох, феодальной и капиталистической, сопровождавшейся серией различных по масштабу буржуазных революций.

Именно тогда у западноевропейских народов, переживавших благотворное влия-

ние нового времени, стали появляться признаки завершения этнополитического объединения, вызревание которых значительно ускорила ломка удельных перегородок и установление административного единства территорий. Более двухсот лет назад, когда у народов Западной Европы раньше, чем у других, происходили эти процессы, «национальный вопрос» разрешался в большинстве стран этого цивилизационного пространства на основе националистического принципа «одна нация – одно государство», для той эпохи, несомненно, прогрессивного. Как следствие этого, самоопределение здесь вполне закономерно завершалось образованием относительно однородных в этническом отношении государств.

Но такой исход нельзя признать окончательным, так как в национальном развитии существуют две исторические тенденции, типичные для всего человечества. Первая тенденция отражает складывание этнической самобытности, а вторая – интеграционных (универсалистских) связей с другими народами. Соотношение их, как показывает опыт, неизменно менялось в зависимости от обстоятельств. В современном мире, по мнению С. Хантингтона, тенденции «дробления и интеграции» сосуществуют, предопределяя «одновременные процессы» [5, 36]. В западноевропейских странах приоритетной сначала была первая тенденция, но в дальнейшем роль второй постепенно возрастала.

Формирование исторических тенденций в отечественном имперском контексте происходило иначе. Полиэтнонациональное государственное единство в этом случае основывалось на взаимодействии русского (восточнославянского) и «инородческого» начал. Развивавшиеся вместе с тем процессы интеграции населения империи

в общероссийское сообщество отразились на особенностях соотношения исторических тенденций. Оформление соответствующего фактора как специфического феномена в структуре государственных отношений, судя по всему, состоялось лишь на исходе XIX в. с завершением становления территориальных пределов до «естественных границ» [6, 347, 349].

Однако изначально, вопреки западноевропейскому опыту, сущность происшедшего сводилась не к обособленному этническому развитию, а имела, несмотря на существовавшие региональные различия, северокавказские или какие-либо другие, прежде всего общероссийское значение. Из этого становится очевидным, что в западноевропейском варианте «национального вопроса» в Российской империи не существовало. Установившееся в ее политическом балансе преобладание второй, интеграционной (универсалистской), тенденции свидетельствует о сложившемся уже до 1917 г. государственном сообществе, включавшем в себя обширные просторы Евразии. Его становление обуславливалось, как уже говорилось, совмещением русского и «иноэтнического» начал.

При взаимодействии первое, бесспорно, являлось основой, но и роль второго, как заметно по проанализированным процессам, в том числе в пределах Северного Кавказа, также была паритетной. Данную особенность феномена отечественной универсалистской трансформации как исследователь отметил и Ю.Ю. Карпов. По его заключению, на российских иноэтнических территориях «национальный вопрос как таковой не значился, раздел между большими группами населения проходил по линии вероисповедания» [7, 29]. В дополнение отметим – Российская окраинная периферия, в силу геополитических особенностей формирования, отсутствия дискриминации и, что немаловажно, близости расположения утрачивала признаки обособленности. Вместе с тем складывался и общий цивилизационный контекст, способствовавший сохранению и даже развитию самобытности этничностей.

Универсалистская трансформация в других империях приводила, как правило, к ее сужению и в конечном итоге к подавлению. Процессу интеграции в единое государственное пространство каждая иноэтническая часть в Российской империи из-за тех или иных объективных причин поддавалась далеко не одинаково, и тяготение некоторых окраин к цивилизациям Запада и Востока так и не было преодолено [8, 78-81]. Переходные состояния развития по иным траекториям, равно как и противостоявшие им обстоятельства, складывались и в других империях.

Так, византийский универсалистский синтез, по наблюдению Б.Т. Горянова, «сочетая элементы самых различных культур, координируя противоположные тенденции», не смог преодолеть сохранявшуюся обособленность ряда провинций, где в отдельные периоды «пробуждались старинные местные традиции» и на этой основе обострялись «никогда не забывавшиеся сепаратистские настроения» [9, 28]. В Российской империи, как известно, наиболее сильным тяготением к Западу вплоть до 1917 г. оставалось в Польше и Финляндии, хотя они тоже были в какой-то степени вовлечены в сферу евразийского континентального притяжения, которое, впрочем, обрело лишь слабо выраженные признаки российского сплочения.

О том, как это происходило в действительности, можно, в частности, проследить по написанной на основе разнообразных источников книге Н.В. Берга «Записки о польских заговорах и восстаниях 1831-1862 гг.» (1873) (см. подробнее: [10]). В подборку материалов автором включены документы официальных архивов, сведения из нелегальной литературы и служебных фондов наместничества Царства Польского. В описаниях Берг так или иначе показал неоднозначное отношение населения к кризисным событиям в этой части империи и подтвердил существование здесь «польских русских» [10, 4]. Такая категория подданных формировалась и в смешанных семьях. При вступлении в брак православных и католиков на этой окраи-

не допускалась возможность не принимать другую веру [11, 6]. Подрастающие же поколения становились, как правило, «русскими по духу».

Примером может служить генерал А.И. Деникин [11, 6-7]. Убежденный патриот и сторонник «неделимой России», он крайне нетерпимо относился к любым проявлениям сепаратизма. Аналогичная разновидность имперского синтеза со своими особенностями наблюдалась и в Финляндии, где массы «рабочих и крестьян прониклись чувством необходимости сохранения независимости» лишь к концу 30-х гг. XX в. (см. подробнее: [12, 64]). Оставались до этого на бывшей окраине и те финны, которые «искренне и глубоко» любили «старую Россию» [12, 60]. К ним относился и К.Г. Маннергейм, служивший когда-то в «императорской армии». На путь сепаратизма, как подтверждают и зарубежные авторы, «прославившийся» на этом поприще маршал встал исключительно из-за неприятия большевистского режима [12, 60].

Сходство с ситуацией в Польше и Финляндии существовало также в прибалтийских губерниях [13, 34]. В регионах, тяготеющих к Западу, цивилизационное сближение с Евразией оказалось бы глубже, если бы Россия смогла противопоставить более привлекательную альтернативу социально-экономической и культурно-политической жизни. Это, кстати, понимали отдельные представители управленческой элиты, что видно, например, из воспоминаний генерала П.Г. Курлова, хорошо знавшего по своей работе на посту губернатора западные районы империи [14, 111]. Существенным противовесом этому сближению являлось и богатое историческое наследие длительного самостоятельного развития.

Своеобразное выражение получила эта разновидность тяготения в западных восточнославянских частях Российской империи, пребывавших в течение нескольких веков в составе Польши и Австро-Венгрии и, как следствие, находившихся под их сильным влиянием. Некоторые украинские и белорусские земли продолжали оставаться в границах последней еще и в

начале XX в. Здесь, как когда-то в сопредельных российских губерниях, шла насильственная экспансия католицизма, что разрушало исторически сложившееся восточнославянское этнонациональное поле и культурную самобытность исповедовавшего православие населения, которое, кроме того, подвергалось экономической и иной дискриминации. Разделенность его на «галицийскую» и «малороссийскую» части отражалась, к слову, в польских источниках (см. подробнее: [10, 51, 57 и др.]). С. Хантингтон отнес ее к одной из линий цивилизационного разлома, образовавшейся при соприкосновении православно-го (восточного) и униатского (западного) ареалов [5, 39].

Там, где это было возможно, главным образом в имевших отмеченную специфику административных образованиях в составе Российской империи, проводилась политика, направленная на ослабление последствий влияния католицизма. Это касалось и униатской церкви, деятельность которой была поставлена под контроль [15, 20]. Однако украинские области, находившиеся в пределах иных государств, под такое воздействие не попадали. Тем не менее до 1917 г. они еще не утратили тяготения к восточной основной части этнонационального поля. Так, по признанию М. Павлык, автора книги «Москвофильство и украинофильство среди австро-русского народа», изданной во Львове в 1906 г., «толчки во всяком движении среди австро-венгерских русинов всегда исходили из России» [16, 330].

Восточная часть формирующейся украинской разновидности восточнославянского этнического поля, территориально и по численности населения гораздо большая, находилась в государственных пределах России и испытывала сильное тяготение к ней и объединенной ею Евразии. Подтверждали это и опросы самого украинского населения, особенно на территориях, входивших в состав России [17]. Примечателен в этой связи один из эпизодов в ходе нарастания революционного кризиса 1905 г. В наиболее критический для страны

момент Николаю II подали петицию с миллионом подписей из Волынской губернии, в которой выражалась глубокая обеспокоенность за судьбу России и содержалась просьба «сохранить самодержавную власть и не уступать своих прав Государственной думе». Вместе с тем волынцы с убежденностью заявили в адресе царю, что они «не украинцы, а русские... что любят родину» [18, 96-97, 504, 510].

Мнение о национальном единстве восточного славянства разделялось и русской эмиграцией, чего нельзя сказать о советской историографии. Отстаивал его, например, П. А. Сорокин, профессор Петербургского университета, высланный из страны в 1922 г. и получивший в Америке признание как основатель «научной социологии», подтверждением чему служит предоставленная ему возможность возглавить первую ассоциацию, объединившую ученых данного направления. Многолетние изыскания позволили ему в 1967 г. вновь высказать суждение о том, что «русская нация состоит из трех основных ветвей русского народа – великороссов, украинцев и белорусов», и даже дать ее более расширенное толкование. По мнению П. А. Сорокина, в нее также необходимо включать заимствовавшие русскую культуру или «ассимилированные этнические группы, входившие в дореволюционную Российскую империю» [19, 24].

Ситуация двойственного тяготения наблюдалась до 1917 г. и в Бессарабской губернии, где часть молдаван устойчиво придерживалась русского подданства, а часть сохраняла унаследованную от прошлого румынскую ориентацию [20]. И в этом случае прошлое оставило возможности для составления различных «национальных проектов», установления преобладания той или иной идентичности [21, 485]. Одного измерения в нем также не существовало, равно как и тенденции эволюционных трансформаций. Особенностью данной разновидности разлома являлось то, что он имел этнополитический характер. Цивилизационная составляющая для православного насе-

ления играла не столь явную роль. Из-за упущенных возможностей в проводимой политике ряд зон, имевших цивилизационное тяготение к Западу, был утрачен Россией в ходе революционных событий 1917 г.

Менее выраженная разновидность так и не преодоленного тяготения – тяготения к Востоку – прослеживалась до 1917 г. на южной периферии, которая вошла в пределы российского государства в XVIII-XIX вв. Среди этих регионов выделялись территории расселения казахов, народов бывшего Туркестанского края и Кавказа, точнее – его специфических восточных ареалов. Своеобразие этой формы тяготения заключалось в том, что значительный вес в нем имел фактор единства веры, мусульманской религии, и уже затем этнокультурная близость. Тот же фактор веры когда-то предопределял в этой зоне острых межконфессиональных противоречий не менее устойчивую российскую ориентацию христианских народов (армян, грузин, осетин и др.). Сближение же восточных регионов с Россией во всех отношениях было более тесным, чем западных зон двойственного тяготения, ибо она в свое время предоставила им более устойчивую социально-экономическую и государственно-политическую перспективу развития, чем могло это сделать претендовавшее на них сопредельное зарубежье.

Несмотря на сохранявшееся тяготение к Востоку, более тесная геополитическая и цивилизационная взаимосвязанность этих регионов с Россией проявлялась в различных событиях, но выраженное общегражданское единство до 1917 г. здесь все-таки не сложилось. Интегрированность отчасти существовала и в других универсалистских объединениях Запада и Востока. В российских пределах она в преобладающей степени была государственно-политической. Именно в зонах двойственного цивилизационного тяготения, так же как и в не утративших традиционную самобытность провинциях Византийской империи, существовала и более высокая предрасположенность населения к сепаратизму.

Обнаружилась она, например, когда Николай II, разделявший стремление Александра III «создать однородную империю», предпринял попытку встать на позиции государственного национализма, являвшегося основой развития многих стран Европы и зарубежных универсалистских образований. В этой связи в России к концу XIX в. наметилось сосредоточение власти в центре и преодоление обособленности отдельных частей, имевших высокую степень самостоятельности. Тем не менее сохранение обособленности и отказ верховной власти от более жесткой подчиненности ряда окраин, прежде всего Польши и Финляндии, были, по мнению С.С. Ольденбурга, «самыми минимальными условиями примирения с русской государственностью» [22, 84-85]. Вместе с тем предпринимались политические меры, в целом свидетельствовавшие о неизменности курса в отношении иноэтнической периферии и о приверженности Петербурга прежним подходам.

При посещении в 1897 г. Варшавы Николай II для смягчения враждебности, существовавшей в русско-польских отношениях после подавления восстаний 1830-1831 и 1863 гг., разрешил сбор средств на памятник Мицкевичу, сооружение которого было намечено в этом городе. До этого его имя считалось «крамольным», а образ великого польского поэта был заслонен образом врага России, организовавшего польские легионы в Крымскую войну для поддержки усилий англо-франко-турецкого альянса. Варшавский генерал-губернатор граф Шувалов, как администратор отличавшийся твердостью и неуступчивостью, был заменен мягким и обходительным князем Имеретинским. Во время пребывания в Варшаве российский монарх «ласково принимал представителей польского общества» и благодарил население за выраженные ему чувства. В рескрипте генерал-губернатору края он заверил, что будет и в дальнейшем заботиться «о благе польского населения наравне со всеми верноподданными державы русской», и напомнил еще раз о «не-

разрывном государственном единении» с ним [22, 85].

Внутренняя самостоятельность иноэтнических сообществ и внешние российские административные ограничения указывают на то, что в государственную систему России было заложено в большей степени не нивелирующее подавление, как в зарубежных империях, а долговременный компромисс. Необходимо заметить, что в сфере гражданских прав русская власть на всех окраинах империи, так же как и на Кавказе, избегала резкой ломки, считаясь с правовыми навыками населения, и оставляла в действии на управляемой территории и конституцию с сеймом в Великом княжестве Финляндском, и кодекс Наполеона в Царстве Польском, и литовский статут в Полтавской и Черниговской губерниях, и магдебургское право в Прибалтийском крае, и обычное право, местные законы в Сибири, в Туркестанском крае и т.д. [22, 84] Когда именно появилось осознание оправданности такого подхода, сказать трудно. Можно выдвигать лишь предположения.

Но для российской практики взаимодействия с окраинами он, судя по всему, являлся традиционным. Во всяком случае уже в труде Н.М. Карамзина содержится подкрепленное фактами признание: «Государство наше состоит из разных народов, имеющих свои особенные Гражданские уставы, как Ливония, Финляндия, Польша, самая Малороссия» [23, 99]. Историком ставится вопрос, вызывавший озабоченность у высшей власти и в его время: «Должно ли необходимо ввести единство законов?» Ответ в виде размышления дается неоднозначный: «Должно, если такая перемена не будет существенным, долговременным бедствием для сих областей – в противном случае, не должно» [23, 99].

Находившееся на особом положении Великое княжество Финляндское имело не только конституцию, дарованную еще Александром I, но и сейм, состоявший из представителей четырех сословий (дворян, духовенства, горожан и крестьян). Сзывался он каждые пять лет и при Александре III даже получил в 1885 г. право

законодательной инициативы. Местным правительством был сенат, назначавшийся императором, а связь с общеимперским управлением обеспечивалась через министра, статс-секретаря по делам Финляндии [23, 22]. Такой самостоятельности эта окраина Российской империи не имела, к стати сказать, в составе Швеции, благополучном и до 1809 г. европейском государстве. Именно данное обстоятельство являлось определяющим в отношениях Финляндии с Петербургом [24, 3-3об.].

Системная совмещенность российских государственных ограничений с гарантиями невмешательства во внутренние дела свидетельствует о том, что окончательная стабилизация достигалась при помощи не подавления, а политического компромисса. Подобная практика взаимоотношений с иноэтническими включениями в формировании феномена отечественного универсализма прослеживается с ранних стадий, и в ней можно даже усмотреть некую преемственность. Так, обладавший обширной территорией Великий Новгород, как известно, предоставлял ее частям значительную самостоятельность. По данным В. О. Ключевского, правившие здесь князья еще в XI в. «назначали на местные правительственные должности людей из местного же общества», сохраняя тем самым привычные для населения административные учреждения и их туземный состав [25, 74].

Но проявления компромисса встречаются и в более широком (евразийском) цивилизационном диапазоне. На его основе строились, в частности, взаимосвязи Северо-Восточной Руси с Золотой Ордой в XIII-XV вв. В Крымском ханстве, предоставившем убежище казакам-некрасовцам, им дана была полная свобода «в делах веры и внутренних распоряжений». Религиозные заведения (скиты, монастыри и т.д.), как и «вера отцов» в целом этой восточнославянской субэтнической формы сплочения на основе религиозных различий, находились у татар под защитой властей и считались неприкосновенной святыней. Следовательно, зависимость от ханских инстанций казаков-некрасовцев была также чисто внеш-

ней, в своей внутренней жизни они руководствовались сложившимися обычаями и установлениями, имея свое самоуправление на выборных началах [26, 604].

Видимо, Россия восприняла отчасти и эту особенность устройства империи Чингисхана, наследницей которой она стала с XVI в., приняв на себя миссию сохранения единства Евразии. Однако компромисс в пределах этой империи прежде всего обеспечивал стабильность для максимальной собираемости налогов с подвластного населения. Дань с Руси как заметил, например, Г. В. Вернадский, стоявший у истоков создания теории евразийства в 20-30-х гг. XX в., составляла «важный источник дохода... Золотой Орды», и за счет ее в значительной мере поддерживалось владычество над огромной территорией, простиравшееся в отдельные периоды вплоть до южных границ Китая [27, 7]. В Российской империи, как нетрудно заметить, оно поддерживалось за счет русского народа.

В этом как раз заключалось одно из важнейших отличий. В Крымском ханстве казаков-некрасовцев за предоставленные привилегии привлекали, используя внутренний конфессиональный антагонизм, к участию в набегах на сопредельные христианские народы, преимущественно самих же русских, из чего извлекались немалые военные и материальные выгоды. Вместе с тем культивировались рецидивы религиозных войн, прокатившихся когда-то вследствие возникших идеологических разногласий по Западной Европе и в некоторых других регионах мира. Они сопровождались (на что, судя по всему, также делался расчет) трагедией взаимного истребления, подрывая на длительное время силы государств и их возможности к сопротивлению внешним агрессиям. Компромисс России с вошедшими в ее состав народами, в том числе и на Северном Кавказе, имел нацеленность на гражданское их приобщение, «слияние с другими подданными» [24, 3-3об.].

Государственное вмешательство во внутренние дела туземных народов было преимущественно косвенным и ограни-

ченным. Эта система сохраняла иноэтнические культурные традиции и обычаи. Происходившая ее эволюция приводила к постепенному вытеснению ограничительных форм правления общегражданскими. Попытки выйти за рамки компромисса и «создать однородную империю» по типу западных, наметившиеся лишь при последнем российском монархе Николае II в конце XIX в., вступали в противоречие со сложившейся практикой управления и вызывали этнополитическую напряженность на ряде окраин, а в некоторых случаях породили даже сепаратизм, ранее у тех же народов не наблюдавшийся [22, 13-14, 22].

Неустойчивость российской интеграции в одной из зон сохранявшегося цивилизационного тяготения к Западу обнаружилась, например, в 1899 г., когда финскому сейму был представлен законопроект с изменениями, распространявший на подвластный ему край русский воинский устав. По этому поводу был издан высочайший манифест, в котором говорилось: «Независимо от предметов местного законодательства, вытекающих из особенностей... общественного строя, в порядке государственного управления возникают по всему краю и другие законодательные вопросы, каковые по тесной связи с общегосударственными потребностями не могут подлежать исключительному действию учреждений Великого Княжества» [22, 128-129]. Предполагаемые изменения, как видно, носили весьма ограниченный характер. Сложившийся порядок издания местных узаконений оставался в силе, но кое-какие прерогативы по этому проекту закреплялись и за центром [22, 129]. Законы имперские, касающиеся Финляндии, должны были издаваться императорской властью, причем заключения высших административных органов края, а также финского сейма, носили лишь совещательный характер.

В Финляндии этот манифест вызвал недовольство [22, 129]. Конфликт приобрел принципиальный характер, и вскоре стала очевидна опасность его последствий, несмотря на то, что общая направленность

политики на этой окраине оставалась прежней. Дальнейший ход событий показал, что попытка установить более тесное единство между Россией и Финляндией при помощи внешнего сближения учреждений на практике привела к обратным результатам: она способствовала единению между финскими и шведскими элементами края и спровоцировала нарастание сепаратистских настроений, наличие которых ранее у населения края не отмечалось. Вместо закрепления Финляндии за Россией намечилось ее отчуждение [22, 130-131].

Тем не менее, курс на изменение политики по отношению к западным окраинам продолжал выдерживаться. В начале XX в. предусматривались разнообразные меры для его закрепления и в реформах П. А. Столыпина. Однако «во взглядах на финляндский вопрос» не все в правительственных кругах разделяли намерения обеспечить таким способом государственную прочность Российской империи [28, 71]. Рассмотрение его неоднократно производилось в Совете министров и Государственной думе. Относительно же общего законодательства, обеспечения равных гражданских прав для русских на этой окраине, какие имели финны на всем пространстве империи, возражений инициативы П. А. Столыпина не встречали. Это касалось и оборонных затрат. Признавалось, что финны наконец-то должны быть подключены к таким расходам, а не только отбывать личную воинскую повинность [28, 71], так как привилегия, оставляемая за ними на протяжении ста лет, ущемляла интересы остальных подданных. Предложения о таких изменениях были внесены на рассмотрение в Государственную думу 17 июня 1910 г. [28, 71].

Предрасположенность к сепаратизму на окраинах, имевших тяготение к Западу, оказывалась, как видно, более высокой. Неустойчивость интеграции с Россией существовала и на Кавказе (см.: [22, 128-139]), также относившегося к зоне непреодоленного цивилизационного разлома. Наблюдалась она в том числе у народов, исповадовавших христианство. В 1903 г. в южных

ареалах края, например, армянское население стало протестовать против передачи имущества армяно-григорианской церкви в ведение соответствующих управленческих структур. Мера эта была выдвинута В.К. Плеве по следующим соображениям: армянские церковные имущества, управлявшиеся лицами, назначенными армянским патриархом (католикосом), проживавшим в монастыре Эчмиадзине, давали крупные доходы, часть которых, по агентурным сведениям, шла на поддержку армянских национально ориентированных революционных организаций в России и Турции [22, 130-131].

Намереваясь прекратить эту практику, Плеве представил государю проект передачи этих имуществ в управление казны с тем, чтобы все выдачи на законные церковные и культурные потребности армянского населения удовлетворялись по-прежнему, но только под контролем русской власти. 12 июля 1903 г. был издан соответствующий высочайший указ. Армянское население восприняло его как попытку отобрать в казну церковные имущества и посягательство на свои священные права [22, 130-131]. Несмотря на решительные протесты «против безобразной затеи» ряда высокопоставленных представителей власти в Петербурге, высшие правящие круги по недоразумению поддержали эту меру, но вскоре, поняв ее ошибочность, сместили своего проявившего некомпетентность ставленника, результаты деятельности которого, тем не менее, уже привели к обострению национальных чувств и распространению антирусских настроений [22, 193].

Смещен был и главноначальствующий на Кавказе князь М.С. Голицын, отличившийся усердием в исполнении соответствующих указаний. Его попытки «русифицировать Кавказ не нравственным авторитетом, не духом», на что делался упор на предшествующих этапах, «а насилием и полицейскими приемами» [22, 193] были осуждены вышестоящими правительственными инстанциями. К пробуждению сепаратистских настроений на Кавказе неизменно вели и грубые выходки некоторых

должностных лиц ниже рангом, опускавшихся до призывов к выселению в Сибирь целых аулов или даже народов. Все это неизбежно оборачивалось лишь нарушением стабильности в регионе. Однако преобладавшее в политике благожелательное и уважительное отношение представителей российской власти к местным народам и общая его направленность смягчали «подобные впечатления и обиды» или даже во все их устраняли [29, 432; 30, 92].

В специфической форме сепаратистская угроза проявлялась и в такой зоне цивилизационного разлома, как Северный Кавказ. Влияние на ее ослабление, наряду с другими факторами, в этой части Российской империи оказывал огромный потенциал русской культуры, роль которого остается неизученной. Самобытность культур других народов Северного Кавказа продолжала сохраняться и развиваться. Вопреки сложившимся представлениям, «русификацию» нельзя воспринимать как явление негативное, так как она имела прежде всего созидательную направленность. Н.А. Бердяев при выделении отечественной специфики отметил, что насильственные ее формы не свойственны проводившейся политике в отношении иноэтнических сообществ империи [31, 296].

Несмотря на предпринимавшиеся усилия для углубления процессов интеграции и на Северном Кавказе, «русификация» не получила широкого распространения. Об этом свидетельствует и крайне низкий уровень образования в среде туземного населения. Наряду с другими неблагоприятными факторами, он являлся одним из препятствий для достижения целей российской политики. В этой связи высшая краевая администрация считала необходимым, «признавая самобытность отдельных мусульманских народностей и право на свободное исповедание ими их религии, воздействовать на них, посредством приобщения их к русской культуре и насаждения среди них начал русского правосознания» [32, 9-10]. К числу важнейших мер, «направленных к сближению горцев с империей», относилось также развитие «их духовной натуры с

помощью образования» [33, 80]. Для этого во всех отделах военно-народного управления, установленного для стабилизации обстановки на переходный период, осуществлялось устройство горских школ [33, 80]. Но их количество значительно уступало мусульманским учебным заведениям.

В начале XX в. на северокавказской окраине при мечетях действовало более 2 тыс. мектебе и медресе [34, 2]. Из них 45% приходилось на восточную часть края и только 2,1% – на западную¹ [35, 74-75; 36, 60; 37, 12-13]. Мектебе являлись школами низшего типа, по законам Российской империи для их открытия не требовалось официального разрешения ни краевой, ни верховной власти. Это зависело только от наличия учащихся и тех, кто изъявлял готовность вести преподавание. Поэтому мектебе имелись во многих аулах. Медресе же являлись учебными заведениями более высокого уровня и существовали лишь в наиболее крупных населенных пунктах [38, 346].

Отношение к этим учебным заведениям среди местных народов постепенно менялось, из-за чего количество их постоянно сокращалось. Мектебе и медресе функционировали вне правительственного надзора и финансовой государственной поддержки не получали [39, 7], но запрета на их открытие и образовательную деятельность не существовало. Отображенное в одном из современных изданий (см.: [40]) оценочное суждение о том, что «имперская администрация не поддерживала инициативы мусульман» в намерении создавать «при мечетях школы» [40, 277], существовавшую реальность воспроизводит не во всей полноте и, как следствие, с нарушением объективности.

Преподавание в мектебе и медресе зачастую вели посланцы из мусульманских стран зарубежного Востока, преимущественно из Турции, насаждавшие чуждые для России понятия [39, 7; 41], что безусловно способствовало повышению предрасположенности к сепаратизму. На эти

учебные заведения опиралась чаще всего и иностранная агентура, проникавшая на северокавказскую окраину для проведения агитации за отторжение региона от России [42, 40]. Церковно-приходские школы, напротив, субсидировались казной. Если же они находились в станицах, то на их содержание дополнительно отчислялись и денежные пособия из войскового капитала [39, 7; 41]. Для развития грамотности среди казаков помимо церковно-приходских школ открывались и станичные училища [43, 310].

С 1905 г. для «быстрейшего достижения целей русификации и укрепления основ российской государственности» начали вноситься изменения в политику просвещения местных народов. В первую очередь намечалось увеличить количество низших школ, находящихся под контролем администрации. В них предусматривалось обучение на родном языке, а преподавание было предоставлено двум учителям: мутле и русскому [44, 28-28об.; 45, 78]. Отстаивая этот принцип организации учебного процесса в горских районах, наместник ссылался прежде всего на то, что «правильно поставленная русская народная школа, с началами грамотности на материнском языке, является первейшим средством для воздействия на мусульман русским мировоззрением» [32, 10]. Подобный опыт существовал уже в Туркестанском крае, где «русско-туземные» школы начали появляться еще с 1885 г. [46, 26-27]. Помимо России, такие же подходы к организации образования практиковались в Британской Индии, для населения которой создавались «англо-туземные» школы с обучением на местном языке и на языке империи [47, 83, 327]. Признавалось, хотя и не сразу, что преподавание в колониях должно вестись на родном языке. Как на российских окраинах, так и в британских колониях подобная практика давала неплохие результаты.

Однако на Северном Кавказе она так и не получила широкого распространения [48, 7], и здесь к 1917 г. одна низшая школа приходилась в среднем на 5, а в Дагестанской области даже на 20 тыс. человек [49,

¹ Подсчет мой. – В. М.

91об.-92]. По этим показателям видно, что изменить неблагоприятную для России конфессиональную ситуацию в иноэтнических районах края не удалось. Подтверждается это и тем, как сильно различался уровень грамотности среди населения в зависимости от религиозной принадлежности. Самым высоким он был у той части, которая исповедовала христианство: более 65% – у основной массы русского населения [50, 20б], чуть ниже, от 37 до 60%, – у казачества [51, 19-20] и 17,5% – у осетин [52, 41]. В среде мусульманских общностей в западной части северокавказской окраины уровень грамотности составлял 5-6% [53; 54, 119], а в восточной – всего около 2%, и то в основном за счет духовенства¹ [55, 123; 56, 15; 57, 31]. Данная ситуация указывает на непреодоленность цивилизационного разлома.

Организация сферы образования между тем шла медленно. Не урегулированным оставалось и управление системой образования. На краевом уровне оно осуществлялось кавказским наместником (до восстановления его должности – главным начальником гражданской части), и до Военного министерства и его Главного штаба вопросы организации просвещения местных народов не доходили [58, 15]. То, что «с просвещением русская власть запаздывала», осознавали и представители администрации [59, 216]. Однако и на этом направлении намечались подвижки, способные оказать благоприятное воздействие на процессы российской универсалистской трансформации на Северном Кавказе. С 1910 г. в Российской империи началась подготовка перехода на обязательное всеобщее обучение [28, 435]. Для этой цели правительство предусматривало в кратчайшие сроки вы-

делять значительные бюджетные средства. Программа введения обязательного всеобщего обучения на всем пространстве Российской империи, включая и окраины, была утверждена в законодательном порядке и обрела, таким образом, официальное оформление в качестве важнейшей составляющей образовательной политики. В соответствии с ней предусматривалось завершить переход к обязательному всеобщему обучению к 1920 г. Однако с 1914 г. его осуществление приостановилось из-за колоссальных затрат на Первую мировую войну [28, 435]. Вследствие этого сохранялось действие неблагоприятных факторов, препятствующих укреплению государственного единства окраин с центром.

Изложенное выше позволяет утверждать, что из-за особенностей развития в России сложилась такая геополитическая ситуация, при которой совпадения государственного и этнонационального полей в большинстве случаев не произошло. На северокавказской окраине государственное поле также формировалось на полиэтнонациональной основе. Можно говорить о цивилизационном совмещении разнородных компонентов, важнейшей составляющей которого являлась русская культура, при сохранении этнической самобытности. В этом проявлялось историческое своеобразие формирования Российской империи как государственности не только русских, но и других народов. Однако интеграция в общем государственном поле происходила неравномерно. Не было преодолено и цивилизационное тяготение некоторых окраин к Западу и Востоку. В таких зонах двойственного цивилизационного тяготения существовала более высокая предрасположенность иноэтнического населения к сепаратизму. Подобная региональная специфика существовала и на Северном Кавказе.

¹ Подсчет мой. – В. М.

1. Ливен Д. Российская империя и ее соперники с XVI века до наших дней. М., 2007.
2. Апрыщенко В. Ю. Уния и модернизация: становление шотландской национальной идентичности в XVIII – первой половине XIX в. Ростов н/Д, 2008.
3. РГИА. Ф. 381. Оп. 47. Д. 42.
4. ЦГА РСО-А. Ф. 224. Оп. 1. Д. 134.
5. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2007.
6. Аналитическая записка начальника Главного штаба Н. Н. Обручева // Приложение в кн.: Золотарев В. А. Военная безопасность Государства Российского. М., 2001.
7. Карпов Ю. Ю. Политика российского государства на Северном Кавказе в позднеимперский, советский и постсоветский периоды // Народы Кавказа в пространстве российской цивилизации: исторический опыт и современные проблемы: Матер. Всероссийской научной конференции (13-15 сентября 2011 г., Ростов-на-Дону). Ростов н/Д, 2001.
8. Матвеев В. А. Применим ли в полной мере имперский феномен к характеристике российской государственной системы // Проблемы истории. Ростов н/Д, 1996. Вып. 3. С. 78-81.
9. Горянов Б. Т. Предисловие // Диль Ш. История Византийской империи. М., 1948.
10. Берг Н. В. Записки о польских заговорах и восстаниях 1831-1862. М., 2008.
11. Деникина М. А. Генерал Деникин. Воспоминания дочери. М., 2005.
12. Энгл Э., Паананен Л. Советско-финская война. Прорыв линии Маннергейма. 1939-1940. Пер. с англ. М., 2009.
13. Матвеев В. А. Отечество не только русских... (Размышления о геополитических, историко-цивилизационных и этнонациональных особенностях российской государственности) // Научная мысль Кавказа. 1998. № 1.
14. Курлов П. Г. Гибель Императорской России. М., 1991.
15. Ферро М. Николай II. М., 1991.
16. Освободительные движения народов Австрийской империи. М., 1981.
17. Матвеев В. А. Переяславская Рада в исторических судьбах Украины и России // Посев. 1995. № 1. С. 94-100.
18. Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920 год. М., 1990.
19. Сорокин П. О русской нации. Россия и Америка. Теория национального вопроса. М., 1994.
20. Окушко В. Р. Молдавский этнос в цивилизационном разломе // Восточная политика Румынии в прошлом и настоящем (конец XIX – начало XXI вв.): Сб. докл. междунар. науч. конф. М., 2011. С. 197-202.
21. Куско А., Таки В. Историографический выбор: румынская нация или молдавская государственность // АВ IMPERIO. Теория и история национализма и империи в постсоветском пространстве. 2003. № 1.
22. Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. М., 1992.
23. Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях // Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. М., 2002.
24. ЦГА РСО-А. Ф. 224. Оп. 1. Д. 134.
25. Ключевский В. О. Курс русской истории/Соч. в 9-ти т. М., 1987. Т. 2.
26. Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска. В 2-х т. Краснодар, 1992. Т. I.
27. Вернадский Г. В. Монголы и Русь. М., 1999.
28. Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1911-1919. М., 1991.
29. Витте С. Ю. Избранные воспоминания. М., 1991.

30. Марков Л. На Кавказе после появления там России // Посев. 1993. № 2.
31. Бердяев Н. А. Душа России // Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. М., 2002.
32. Всеподданнейший отчет за восемь лет управления Кавказом генерал-адъютанта графа И. И. Воронцова-Дашкова. СПб., 1913.
33. Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. В 2-х т. Тифлис, 1907. Т. I.
34. ГАКК. Ф. 454. Оп. 2. Д. 1110.
35. ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 2. Д. 59-р.
36. ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 2. Д. 69-е.
37. ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5765.
38. История Дагестана. М., 1968. Т. II.
39. РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1518.
40. Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007.
41. Жизнь национальностей. 1922. 14 мар.
42. Янчевский Н. От победы к победе. (Краткий очерк истории Гражданской войны на Северном Кавказе). Ростов н/Д, 1931.
43. Караулов М. А. Терское казачество в прошлом и настоящем. (Памятка терского казака). Владикавказ, 1912.
44. РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 76263-а.
45. ГАКК. Ф. 454. Оп. 2 Д. 1229.
46. Рахманов Н. М. Осуществление ленинской национальной политики в Средней Азии. Ташкент, 1973.
47. Шейэ Ж. Современная Индия. СПб., 1913. Ч. 2. Туземная политика.
48. 48. ГАРФ. Ф. 296. Оп. 2. Д. 15.
49. 49. РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1.
50. ГАРФ. Ф. 2314. Оп. 6. Д. 6.
51. Алиев У. Национальный вопрос и национальная культура в Северо-Кавказском крае. (Итоги и перспективы). Ростов н/Д, 1926.
52. Бойков С. Социально-экономические предпосылки революции // Октябрь на Северном Кавказе. Ростов н/Д, 1934.
53. Жизнь национальностей. 1921. 3 дек.
54. Алиев У. Адыгейская (Черкесская) автономная область // Жизнь национальностей. Кн. 1. М., 1923.
55. ГАРФ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 283.
56. ГАРФ. Ф. 1314. Оп. 3. Д. 4.
57. Горянов А. Советский Дагестан на путях культурной революции // Революция и горец. № 5. Ростов н/Д, 1931.
58. РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 61850.
59. Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. В 2-х т. Грозный, 1967. Т. I.